

К. Н.  
ЛЕОНТЬЕВ

*Сочинения*



# Константин Николаевич Леонтьев

## Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2517485](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2517485)*

### Аннотация

«...В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты, и тем более, чем эти вечные «искатели», вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие... О романистах я сказал там прямо: «Без этих Толстых, то есть без великих писателей-художников, можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека... Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет...»

# Содержание

Предисловие	4
О романах гр. Л. И Толстого	13
I.[1]	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# К. Леонтьев

## Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н. Толстого

### (*Критический этюд*)

*Писано в Оптиной Пустыни в 1890 г.*

## Предисловие

Автор настоящего критического этюда Константин Николаевич Леонтьев – один из наиболее своеобразных и в высшей степени интересных наших писателей.

Интересен он и по своей яркой и разнообразной, кипучей и полной переворотов, необычайно богатой внешним и внутренним содержанием жизни, и по столь многогранному и сложному и в то же время столь целокупно единому и простому в своей основе мирозерцанию, и по особенностям своего оригинального и смелого, полного несокрушимой силы и тонкой, нежной грации литературного таланта, и по своеобразию своей литературной судьбы.

Происходя из старого, но уже несколько обедневшего дворянского рода, родился он 13 января 1831 года в родовом

имении отца – селе Кудинове, Калужской губ., Мещовского уезда. Первоначальное домашнее воспитание он получил под руководством матери своей Феодосии Петровны, урожденной Карабановой, отлично кончившей курс в Петербургском Екатерининском Институте и лично известной покойной Императрице Марии Феодоровне. Поступив затем в кадетский корпус, он вскоре перевелся из него в Калужскую гимназию. По окончании в ней курса поступил (в 1849 г.) в Ярославский Демидовский Лицей, но там тогда так мало занимались, что он испугался и соскучился, и среди зимы того же года перешел на медицинский факультет Московского университета, поселившись в доме своих московских родственников. За год до полного окончания университетского курса он, в числе нескольких других студентов, выразил желание, по случаю начала Крымской кампании, поступить на военно-медицинскую службу и, сдав экзамен на степень лекаря (в мае 1854 г.), отправился в Крым военным врачом. Но деятельность его в качестве медика продолжалась всего семь лет (1854–1861 гг.): сначала он состоял врачом Белевского егерского полка, затем младшим ординатором Керчь-Еникальского и Феодосийского военных госпиталей и, наконец, по окончании военных действий, сельским и домашним доктором в нижегородском имении барона Д. Г. Розена.

В начале шестидесятых годов К. Н. Леонтьев меняет уже поприще медика на поприще дипломата, занимая в течение десяти лет (1868–1873 гг.) должности: сначала секретаря

ря консульства на острове Крите, затем управляющего консульством в Адрианополе, вице-консула в Тульче и, наконец, консула в Янине и Салониках. Столь блестяще начатая дипломатическая карьера обрывается удалением его на Афон, где он в уединении, под руководством афонских старцев, проводит около года (в 1871 г.). Выйдя вскоре после того в отставку, он с 1873 года жил то помещиком на родине, в своем прекрасном Кудинове, то послушником Николо-Угрешского монастыря, близ Москвы, то в Варшаве помощником редактора газеты «Варшавский Дневник», а с 1881 г. вновь поступает на службу и поселяется в Москве уже цензором Московского цензурного комитета.

В 1887 г. К. Н. Леонтьев окончательно вышел в отставку и поселился полу-помещиком, полу-монахом в Оптиной пустыни, сняв у монастыря в аренду отдельный дом с садом, у самой монастырской стены. Летом 1891 г. он, с благословения известного Оптинского старца о. Амвросия, под духовным руководством которого находился до самой его смерти, принял там тайный постриг с именем Климента и в конце августа того же года переехал в Сергиев посад, где 12 ноября того же 1891 года скончался и похоронен близ Троицкой Лавры, в Гефсиманском (Черниговском) скиту.

Писать покойный К. Н. Леонтьев начал очень рано. Еще будучи студентом, он принес на просмотр самому знаменитому русскому писателю того времени И. С. Тургеневу свои первые опыты. Тургенев отнесся к начинающему писателю

в высшей степени внимательно и любезно, ободрением своим и похвалой окрылив первые его литературные шаги. Но первые студенческие произведения Леонтьева, – драматическая пьеса «Женитьба по любви» (1851 г.) и первые главы повести «Булавинский завод» (1852 г.), – предназначенные для петербургских журналов – «Современника» и «Отечественных Записок», были запрещены цензурой и не явились в свет. Первым произведением его, появившимся в печати, была повесть «Благодарность», в рукописи носившая название «Немцы». Напечатана она была в 1854 г. в «Московских Ведомостях» (литер. отд., №№ 6–10), за подписью \*\*\*. Литературным восприемником ее при появлении в печати был М. Н. Катков, отнесшийся к юному автору ее с неменьшим вниманием и любезностью, чем И. С. Тургенев, и, – как рассказывал мне впоследствии покойный К. Н. Леонтьев, – в знак особого поощрения и трогательной ласки, вынесший ему сам первый литературный гонорар его в простом нитяном кошельке, наполненном золотом.

К. Н. Леонтьев блестяще оправдал надежды своих литературных восприемников, – и знаменитого романиста, и знаменитого публициста, – став крупным и в высшей степени своеобразным писателем и в той и в другой области.

Особенным своеобразием и красотой в области беллетристики отличаются его повести и рассказы из жизни на Востоке, печатавшиеся преимущественно в «Русском Вестнике» М. Н. Каткова и затем вышедшие отдельно, в трех томах, под

общим заглавием «Из жизни христиан в Турции», М. 1876 г. Центральное место среди них по удивительной художественности, мастерству душевного анализа, необыкновенно тонкой, филигранной работе и прекрасному, кристально чистому языку занимают «Воспоминания загорского грека Одиссея Полихрониадеса».

Как публицист и писатель в области религиозно-философской мысли, К. Н. Леонтьев необычайно оригинален, самобытен и смел. Большинство статей его этого рода вошли в сборник, названный им «Восток, Россия и Славянство», М. 1885–1886 гг., два тома. Наиболее крупная и по значению и по размерам статья этого сборника – «Византизм и Славянство».

Совершенно особое место среди сочинений К. Н. Леонтьева занимает напечатанная первоначально в «Русском Вестнике» (1879 г., кн. 11 и 12), затем изданная отдельной брошюрой своеобразная биография «Отца Климента Зедегольма, иеромонаха Оптиной пустыни», замечательная по тонкости и глубине анализа человеческой души вообще и монашеской в особенности. В 1909 г. Шамардинский монастырь переиздал эту брошюру третьим изданием. Значит, она расходуется, имеет свой круг читателей (всего скорее среди монашества и людей, имеющих с ним соприкосновение). Из других его произведений нет ни одного, которое было бы переиздано.

Вообще литературная судьба К. Н. Леонтьева своеобраз-

на и трагична. У него были при жизни, есть и теперь отдельные восторженные поклонники; были при жизни, есть и теперь – даже небольшие кружки горячих почитателей, ставящих его очень высоко; но большая публика, широкие круги читателей не знали его при жизни, не знают и теперь, прямо не имели и не имеют о нем никакого понятия. Объясняется это прежде всего тем, что он бесстрашно и непреклонно плыл «против течения», шел против господствовавшего в его время «духа века», за которым шла современная ему толпа. Часть противников его, более простодушная, искренно не понимала его, – до того ей речи его казались странными и дикими; другая же часть, более понятливая, намеренно предпочитала не раз уже испытанную предательскую тактику замалчивания – слишком рискованному с таким сильным, как он, противником активному отпору, открытому, честному бою с поднятым забралом. К тому же он был слишком своеобразен и самобытен, слишком, как говорится, «на свой салтык», чтобы примыкать к какому-либо хоть сколько-нибудь видному направлению, хоть сколько-нибудь влиятельной партии, чтобы иметь в них поддержку. На него все как-то покашивались, даже из людей родственных и близких ему по убеждениям, пугаясь его необычайной порой смелости и кажущейся парадоксальности.

После смерти его, особенно в последнее время, разговоры о нем в печати стали как будто более частыми, но зато, к сожалению, нередко довольно вздорными: о мертвом можно

говорить, что угодно, рядить его в какие угодно перья, – отпора от него не встретишь. Пронеслось и стало даже как будто утверждаться сближение его с Ницше, название его «русским Ницше». Этим, кажется, по старому холопству нашему пред Европой, думали сделать ему даже большой комплимент. Но большой ли комплимент или большая обида, – а большой интерес к К. Н. Леонтьеву в широких слоях русской читающей публики это вызвать во всяком случае могло; могло, следовательно, создать и спрос на его сочинения и познакомить, наконец, русского читателя с настоящим К. Н. Леонтьевым, с таким, каким он был на самом деле, а не с таким, каким его изображают его теперешние истолкователи. Но этого не случилось, – и не могло случиться, потому что... сочинений К. Н. Леонтьева в продаже нет: они, кроме брошюры «О. Климент Зедергольм», стали библиографической редкостью. Их давно следовало бы переиздать, но у наследников его нет средств, а издателей не находится.

И вот, добродушная читающая публика наша до пресыщения зачитывается пресловутым европейцем Ницше, в сотнях тысяч экземпляров выброшенным на русский книжный рынок в едва грамотных и в совершенно безграмотных переводах; имя и сочинения его навязли у нее в зубах, – а сочинений одного из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли, К. Леонтьева, она не читает, не знает и не может знать, – их нет в продаже; самого имени его среди нее почти никто не знает.

Странное положение, удивительно своеобразная и трагическая литературная судьба!

Издаваемый ныне критический этюд К. Н. Леонтьева о романах гр. Л. Н. Толстого «Война и Мир» и «Анна Каренина» помещен был первоначально в «Русском Вестнике» 1890 г. (кн. 6–8).

Погребенный в старых книжках журнала, он почти недоступен вниманию читающей публики. А между тем статья эта очень оригинальна и интересна. Особенно интересна она в двух отношениях: во-первых, как в высшей степени своеобразный и ценный вклад в литературу о Толстом, в которой, по случаю недавней смерти его, стол многим хотелось бы теперь хорошенько разобраться, и, во-вторых, как последняя, предсмертная большая статья Леонтьева, его «лебединая песнь», литературный завет его следующим поколениям русских писателей, для которых она должна бы стать настольною книгой. Это – итог мнений его о русской художественной литературе, одним из видных представителей которой был он сам, накопившихся в нем под конец его жизни, – мнений о литературном анализе, о стиле литературном и о том литературном веянии, под которым он воспитался и вырос и которое перерос.

Гр. Л. Н. Толстой и К. Н. Леонтьев были почти однолетки (Леонтьев был на три года моложе) и литературные сверстники. Были они знакомы и лично, хотя и встречались не часто. Последняя встреча их была в Оптиной пустыни, где гр.

Л. Н. Толстой посетил К. Н. Леонтьева, написавшего вскоре после того в той же Оптиной пустыни свой критический этюд о его романах.

В разговоре с покойным гр. Л. Н. Толстым я слышал в 1888 г. следующее мнение его о К. Н. Леонтьеве:

– Его повести из восточной жизни – прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что касается его статей, то он в них все точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся.

Когда я передал К. Н. Леонтьеву эти слова о нем гр. Л. Н. Толстого, он очень смеялся.

Таково было мнение Толстого о Леонтьеве. Мнение же Леонтьева о Толстом читатели найдут на следующих страницах этой книги.

*Анатолий Александров.*

# О романах гр. Л. И Толстого

## Анализ, стиль и веяние

### (Критический этюд)

#### I.<sup>1</sup>

Около года тому назад я начал печатать в ежедневном «Гражданине», под заглавием: *«Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой»*, мои размышления о том, который из них должен быть для России дороже: сам творец или создание его гения, столь реальное и правдоподобное? Великий ли романист, или воин, энергический, образованный и твердый, видимо способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела?

---

<sup>1</sup> Настоящая глава статьи напечатана была в №№ 157 и 158 «Гражданина» 1890 г. в сопровождении следующего письма автора: «М.Г. В «Русском Вестнике» печатаются теперь статьи мои «Анализ, стиль и веяние». Редакция этого журнала приняла труд мой очень любезно, но просила исключения 1-й его главы. Глава эта имеет, однако, для меня значение необходимого предисловия, и видеть статью мою без объяснительного вступления мне будет неудобно. Поэтому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой – напечатать ее в «Гражданине» одновременно с появлением означенной выше статьи моей в «Р. В.». К. Леонтьев». Остальные главы статьи были напечатаны в «Русском Вестнике» 1890 г. кн. 6–8, а затем в 1911 г. вышли в отдельном издании в Москве под заглавием «О романах гр. Л. Н. Толстого». *Ред.*

Рассуждения эти были мною самым наполовину прерваны и неокончены (почему – объясню ниже). Но для тех, кто читал мою статью, я надеюсь, было уже и сначала ясно, что я с этой патриотической точки зрения предпочитаю Вронского не только Левину, но даже и самому гр. Толстому.

В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты, и тем более, чем эти вечные «искатели», вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие...

О романистах я сказал там прямо: «Без этих Толстых, то есть без великих писателей-художников, можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека... Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет».

Хотя характер Вронского мы знаем преимущественно по его частной жизни (как всегда почти бывает в романах), и представлен он нам автором еще в тех молодых годах, когда государственное и общественное поприще человека, даже и высоко в свете поставленного, бывает еще узко, – однако и при этих условиях душевный и умственный строй молодого графа для нас достаточно ясен, и мы можем сказать: пошли Бог России как можно больше *таких* знатных людей, смелых и осторожных, твердых и сдержанно-страстных, физически не изнеженных; с виду блестящих, но внутренне самым сердцем серьезных. Вот что я хотел сказать о Вронском, говоря о русских «героях» вообще.

Рассуждение я имел тогда с виду длинное и подробное. Я хотел с этой именно стороны – с *жизнейской*, а не с художественной, пересмотреть сызнова всех этих главных «героев» нашей литературы, начиная от *первого* живого в ней главного лица, то есть, от Онегина, *до последнего по времени*, до Троекурова в «Переломе» Маркевича: Печорина, Бельтова, обоих Адуевых («Обыкновенная история»), Рудина, Лаврецкого, Базарова и других героев Тургенева, Обломова и Райского («Обрыв»), Калиновича и «Людей 40-х годов» Писемского и, наконец, главных героев гр. Толстого. Выше всех, *как живых, действительных* людей, я хотел поставить троих: Андрея Болконского, Вронского и Троекурова. И, кажется, не без достаточных оснований... Ибо, если мы в самом деле не хотим, чтобы в нашей русской жизни на всех поприщах восторжествовали бы Базаровы, Волоховы, Соломины и Неждановы, то противопоставлять им, как идеал, нужно не Левиных, которые меняют мнения и взгляды свои чуть не каждый день, и не Карениных, которые боятся пистолет взять в руки и привыкли судить жизнь по одним лишь ее «отражениям» в канцелярских бумагах и ученых книгах, но таких убежденных, смелых, решительных и даже *физически* крепких людей, как Троекуров и Вронский...

Это ясно. Но я имел в виду превознести по долгу справедливости и третье лицо – Андрея Болконского!

И вот здесь-то и встретилось для моей мысли вовсе неожиданное препятствие!

Более против прежнего внимательное и строгое отношение к предмету, освещая его с новых сторон, очень часто наводит нас и на такие новые требования, которых мы прежде к собственному пониманию нашему не предъявляли...

Я вынужден был спросить себя: имею ли я право, рассуждая о натурах, воспитании, характерах, о степенях социальной ценности и личной симпатичности названных лиц, – *ровнять достоверность изображения* моих современников – Рудина, Лаврецкого, Базарова, Левина, Вронского, Троекурова – *с достоверностью изображения героев 12-го года* в романе «Война и мир»?

Может быть – да, а может быть и нет!..

Условия художественного творчества не одни и те же. В современных романах наблюдение жизни у всех авторов было непосредственно, но при воспроизведении жизни людей 12-го года гр. Толстой был вынужден на две трети своего художественного труда обходиться одними ресурсами *воображения*. Это большая разница.... Чести автору, быть может, и гораздо больше через это условие; но когда речь идет не о силе творчества, а об оценке действующих лиц, *как действительных людей*... тогда позволительно, усомниться, как усомнился я.

Сила гениального творчества одинакова в двух великих созданиях Гоголя – «Вий» и «Записки сумасшедшего»; однако мы с точки зрения реальной достоверности не можем же равнять *самого Вия* с петербургским чиновником Поппри-

щиным. – На создание царя Бориса Пушкиным потрачено, конечно, гораздо больше творческой мощи, чем на изображение Онегина, в котором, – всякому это ясно, – вложено было много и лично пушкинского; однако его Онегин *достовернее* его же Годунова. Вот о чем я говорю.

Эти колебания мысли моей по поводу героев 12-го года в романе «Война и мир» навели меня неожиданно для меня самого на вовсе новый путь. Я решился оставить неоконченным рассуждение мое о социальной ценности и лично психическом значении разных русских героев XIX века и заняться общей, чисто-эстетической задачей... «О *стиле, анализе, – о веянии* известным духом времени или среды и о *невеянии ими*».

Герои гр. Толстого нечаянно подали мне повод к подробному сравнению достоинств и недостатков двух главных и великих его произведений; а разбор «Анны Карениной» и «Войны и Мира» *заставил* меня почти невольно выразить и некоторые основные мои взгляды как на литературную эстетику вообще, так и на слабые стороны всей реалистической русской школы от времен Гоголя и до наших дней.

Я знаю, что и эти речи и мнения мои на почве «чистой» критики покажутся многим странными и по непривычности своей произведут на некоторых читателей даже весьма неприятное впечатление. Быть может их назовет кто-нибудь точно так же «психопатическими парадоксами», как называли недавно *другие* мои взгляды, исторические.

Я не только не огорчен этим особенно сильно, но даже готов сам сказать, что если уже искать где «психопатию», то скорее всего уже в предлагаемом здесь критическом опыте. Я должен сам сознаться, что он очень субъективен, быть может даже и до некоторой «идиосинкразии» или капризности.

Трудно судить самому себе, особенно там, где не чувство исходит из рассуждения, а рассуждение развивается из *непобедимого* чувства. Может случиться, что весь ход наших мыслей, – как бы он по дальнейшей связи своей ни был правилен и ясен, – зиждется на таком чувстве, на таком избрании личного вкуса, которое всем другим будет казаться не только странным или «чуждым» (как любит выражаться тот же гр. Л. Н. Толстой), но и прямо уродливым.

Пусть будет и так; я привык к умственному одиночеству и к тому, что даже и сочувствующие кой в чем мне люди находят справедливым при случае упрекнуть меня в любви к парадоксам и в «бесполезной оригинальности». Что делать!.. Как мыслится, – так и пишется, как чувствуется, – так и говорится!

Припоминаю вдобавок, по слабости человеческой, всегда в таких случаях одно очень выгодное для меня мнение Дж. Ст. Милля. Он говорит, что даже и *ошибки людей, которые дерзали мыслить по-своему, сделали большие пользы, чем великие истины, повторяемые бездарными устами.*

Сверх того я думаю, что эстетическая критика, подобно искреннему религиозному рассуждению, должна неизбеж-

но исходить из живого *личного* чувства и стараться лишь оправдать и утвердить его логически... Там – *личная вера* прежде, – общие подтверждения после; здесь *субъективный вкус* сначала, – разъяснения после.

Грубая научная очевидность, холодное научное беспристрастие – ни в том, ни в другом случае невозможны...

В эстетических вопросах беспристрастие годится только двойное: или *прямо личное*, к самому писателю, как к человеку, или более отвлеченное, *в смысле независимости* от его направления политического, религиозного и нравственного... Беспристрастие или, скажем даже, бесстрастие этих двух родов есть даже прямая обязанность добросовестного критика, оно есть идеал критического мышления.

Человек, который стал бы уверять и себя, и других, что «Монрепо» Салтыкова – бездарная вещь, потому только, что Салтыков был революционер, – такой человек не заслуживал бы названия хорошего критика. Ведь можно, наконец, увенчавши лаврами талант «вредного гражданина», его самого не только предать гражданской анафеме, но и подвергнуть строгому наказанию, если нет сил с ним сладить. Ибо государство дороже двух-трех лишних литературных звезд. Но в критике нельзя не отдавать большому дарованию подобающей дани. Или другой пример обратный. Я знал еще в 60-х годах таких людей (немногих, впрочем), которые, горячо сочувствуя тогдашнему революционному движению умов, находя и Некрасова и Добролюбова в высшей степени полезны-

ми по направлению, *не могли* однако *принудить себя предпочитать* стихи этого самого Некрасова стихам Фета и Полонского. И, читая Тургенева, эти люди, эти «революционеры и демократы», эти друзья «Современника», восхищались его повестью «Первая любовь» и презирали эстетически его «Накануне». И в самом деле, нужно или вовсе уже и не думать о прекрасном ни в искусстве, *ни в самой жизни*, или иметь вкусы какого-то торжествующего лакея, чтобы не понимать, что в повести «Первая любовь» и поэзия, и правда бьют ключом из каждой строки, а все это «Накануне» намалевано почти по заказу прогрессивно-демократического хамства. И «Монрепо» искренно и сильно по внутренней физиологической злости и по истинно гениальной бранчивости Салтыкова, и «Первая любовь» написана искренно, изящно и сильно, вследствие природного изящества всей натуры Тургенева. А что касается до холодом и ложью дышащего «Накануне», то, я думаю, Тургенев описывал любовь своей скучной Елены к деревянному Инсарову с такою же искренностью, с какой Салтыков мог – «Боже, Царя храни!». Неудивительно, что я, например, так думал и двадцать пять, и тридцать лет тому назад; я и тогда уже не выносил ни кровожадной «свистопляски» «Современника», ни лживой гуманности Некрасова. Я мог еще быть и пристрастен *по направлению* гражданскому, по ранней ненависти к демократии; но я с удовольствием вспоминаю об этих петербургских давних знакомых моих за то, что и столь ошибочное и вред-

ное настроение их тогдашних политических мыслей не могло в них убить ни высокого вкуса, ни критической правдивости. Извращение гражданских чувств не ослепило их критического ясновидения.

Такого рода ослепления, пристрастия или тенденциозные притворства, конечно, портят и роняют всякую критику, тем более – чисто эстетическую.

Но есть пристрастия иного рода: непобедимые влечения вкуса и сочувствия, отвращения и бескорыстной досады... Человеку *претит* многое из того, что большинству нравится; человеку неприятно то, к чему *почти* все (если не все) привыкли; он почти невольно обращает *особое* внимание на то, о чем другие и не упоминают...

Должен ли он непременно молчать потому только, что ему кажется, – он один так чувствует? А если... он вовсе *и не один*?

Если между читателями и ценителями найдется и такие, которые чувствуют и думают тоже нечто подобное и ждут только более решительного или более опытного голоса, могущего оправдать в их глазах собственный художественный инстинкт, способного ответить более подробным рассуждением на их смутное, но сильное эстетическое влечение?

Если эстетику в настоящем ее виде можно позволить себе назвать наукой (или, вернее – чем-то хотя и незрелым, но все-таки наукообразным, стремящимся стать когда-нибудь наукой), то ведь и самая этимология термина «эстетика» го-

ворит нам, что есть учение о *чувстве* прекрасного, о законах этого чувства.

(*Этаноме* по-гречески, значит, *чувствую, ощущаю*. *Этисис* – *чувство* и т. д.)

Чувству, к тому же, в наше время (напомню и об этом) даны уже и некоторые *философские* права. Об этом вопросе можно справиться, между прочим, и в недавней статье г. Грота «*Значение чувства в познании и деятельности человека*» («Моск. Ведом.» 1889, январь), а так же и в сочинениях г. Астафьева «*Психический мир женщины*», «*Чувство, как нравственное начало*» и др.

Чувство предугадывает нередко будущую умственную истину, какого бы то ни было порядка: религиозного, политического, научного. И если уже давать чувству такие права не только психологические, но и *почти* логические, то где же и допустить эти права с наибольшим основанием, как не в эстетике, в учении *именно о чувстве* прекрасного.

Весь вопрос здесь в том, нормально ли или ненормально несколько оригинальное, положим, чувство того или другого критика или ценителя? Физиологический ли это вкус, который со временем может быть и многими другими признан за нормальный и даже высокий, некоторое ли это ясновидение критическое, воспитанное какими-нибудь счастливыми индивидуальными особенностями, или это в самом деле случайная и вовсе исключительная *идиосинкразия*, доходящая, пожалуй, и до некоторой психопатии?

Какие *права* дать этому чувству? *Психологические* ли только, то есть такие, какие мы признаем за множеством тех глупостей, которые беспрестанно делают люди, даже и очень умные? Или увидеть в нем *предчувствие* будущих, более точных, более ясных *истин и логических определений*?

Эти вопросы нельзя решать тому, кем именно подобное, более или менее исключительное чувство владеет.

Эти решения он должен предоставить другим.

И вот, зная хорошо всю крайнюю субъективность моей оценки, я и не ищу тщательно скрывать моего «я» за будто бы общими взглядами...

Я избегаю таких выражений, как «мы», «нам кажется», «всякому понятно» и т. д.

Кого этими изворотами и «приличиями» обманешь?

Мне кажется, что в подобных случаях говорить прямо от себя и только за себя – гораздо скромнее и приличнее.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.